
Анна Пестерева

«Ящик, ящер, я щит»

Рассказ

— Аня, Аня. Познакомься, это твоя бабушка.

Женщине, лежащей на кровати, семьдесят восемь лет. У нее волосы такие же темные, как июльская ночь за окном. Всего несколько седых прядей — похоже на дорожки лунного света на воде. Глаза — вязкий мазут, зрачков не видно — тонут. Я смотрю на нее, она смотрит на меня. Мне восемь лет — юбка сбилась на бок, на ногах темно-синие новые туфли, привезенные мамой из Москвы. Мы молчим. Я понимаю — что-то не так, но не умею это сформулировать и продолжаю погружаться в мазут.

Она приехала из разрушенного войной города, еще пахнувшая южным летом, раскаленной дорожной пылью и дегтярным мылом. Поезд увозил ее к нам, оставляя позади квартиру и собственный сад с виноградником и черешней. Цепочка вагонов с людьми ехала мимо других составов — лежащих по обочинам на боку или колесами вверх. Казалось, они кричали, как и дома вокруг, почти на каждом висел огромный плакат «Продаю».

Она медленно шла из кухни в ванную в своей квартире в Грозном, держась за стенку. Дед сутился, готовил еду и ждал кого-то. Когда в дверь позвонили, он побежал открывать. Бабушка вышла в коридор посмотреть, кого принесло. На чемодане сидела женщина лет сорока — уставшая, худая, с бледным от недомогания лицом.

— Кто это? — спросила бабушка.

Это была моя мама. Она два дня ехала в Грозный из Москвы в плацкартном вагоне, чтобы забрать родителей из города. Был 1998 год.

В восемь лет я впервые узнала, что человек может потерять не только имущество, часть собственного тела, близких или жизнь. Он может потерять память. Иногда я приходила смотреть, как дед кормил бабушку. Тогда я задала себе вопрос, о который спотыкаюсь до сих пор: как это возможно? Если у тебя пропала собака, ты kleишь

Анна Пестерева — журналист, работала редактором на радиостанции «Коммерсантъ FM». Сейчас — обозреватель на РБК-ТВ. Родилась во Владивостоке, живет в Москве. Это ее первая публикация в литературном журнале.

объявления на дверях подъездов, опрашиваясь соседей и идешь искать питомца в ближайших дворах. Если ты потерял себя, то где? Куда писать? И поймешь ли ты сам, что потерялся? Я думала об этом, думала и тонула в мазуте.

Морозный узор на окне едва удавалось расковырять. Я упорно продолжала это делать, хотя пальцы замерзли и не слушались. Проталина заастет потом уродливым рубцом — любое событие оставляет за собой след. Я ждала своего девятилетия и думала о будущем. Кто я? Человек. Правда, отец говорил, что пока только полчеловека. Даже в междугороднем автобусе за меня брали неполную цену, а значит, надо еще расти. О чем я мечтала? О подарке. Не о каком-то определенном, а просто, чтобы он был, потому что с деньгами туго, — так говорили взрослые. Кем я стану? Хорошим и честным человеком. Очень справедливым, не буду врать и обманывать. При мне не будет нищих и не придется плакать. О прекращении всех войн я не мечтала — слишком все сложно, и моей детской магии тут недостаточно. Во что я верила? В бога. Через три дома от нас монастырь, и мы ходили туда каждое воскресенье. Но еще больше я верила в свое будущее — там обязательно все будет хорошо. Чего я боялась? Я не... Ноготь уперся в твердый кусочек льда на стекле и треснул посередине. Я только ахнула и отдернула палец — больно. Мама звала к столу, пахло макаронами по-флотски, и я слезла с подоконника, уже не помня своего вопроса.

Вернулась к нему гораздо позже; уже будучи взрослой женщиной смогла подобрать нужные слова. Каждого пугает что-то свое, я определилась со страхами рано: потеря личности хуже смерти. Так я расставила приоритеты.

* * *

Бабушка не помнила даже собственного имени. Знала одно единственное — Коля. Оно заменило остальные, стало нарицательным. Все люди на свете Коли.

Может быть, где-то на улице, а может быть, дома между кухней и залом, при звуке очередной автоматной очереди что-то лопнуло у нее в районе солнечного сплетения, выступило потом на ладонях и спине. А может, ничего этого не было. Может, мозг стал стирать самое страшное — суету и ужас ночных поджогов, грохот взрывов. Образовавшиеся в ткани памяти прорехи затягивались туманом, который накладывался на другие воспоминания, выедал их изнутри. Так постепенно голову окружила плотная белая пелена, и вместо выстрелов «ра-та-та-та-та-та» бабушка слышала теперь «ко-ля-ко-ля-ко-ля», и от этого становилось спокойней. Из всего, что у нее было, она сохранила для себя только имя мужа, — видимо, оно оказалось единственным безопасным местом во всем городе.

Рубашка в грязи. Опять. Значит, лежал между грядками. Значит, стреляли совсем рядом. И молчит — надеется, что не замечу?

Вода закончилась, как же быть-то? Питьевую нельзя — когда в следующий раз гуманитарная машина?.. Мда, без воды.... Дожили. В детский сад пойду, там подвал затоплен — для стирки сойдет. Одно ведро или два? Ох, спина болит. Ничего. Одно.

Нельзя емуходить туда, нельзя, сколько повторять-то. Ковыряется в саду. Виноградник ему жалко. Ну да, а умереть не жалко? Не хочу, не хочу. Вино! Сняты! Когда его пить? На собственных поминках разве что. Смеется. Принесет свой виноград, я его и пальцем не трону. Я его выкину, вот что сделаю.

Фуух, устала, а мне еще наверх. Сколько сейчас? Семнадцать, что ли? Ну, да. Что-то медленно все делаю: возраст, возраст. Бессонница еще. Ночей боюсь. Дожили.

Посижу на лавочке, фух. Эх, а когда-то во дворе играли наши дети. Вот прямо тут и играли. Неужели было? Ох, пойду потихоньку, некогда рассиживаться. Где же Коля? Давно ушел.

Несколько раз снился этот чертов сад. Нет, ходить туда нельзя. Больше нет. Калитка скрипит на одной петле. Деревья вырублены под корень: и абрикос, и алыча, все, совсем все. Иду. Грядки в сорняках, кроме одной — с клубникой. Ягоды большие и красные, как сердце, на каждом кусте по несколько штук. Хочу сорвать, наклоняюсь и вижу — Коля лежит. Хватаю за плечи, трясу, не шевелится. Голова запрокинута, рот открыт. Прямо из горла откуда-то вылетает снегирь — пятно на груди кровоточит. Полетал над нами и исчез. А Коля у меня на руках. Лежит. О господи...

Подойду и скажу: «Обещай мне, что большие не пойдешь. Обещай!»

Люди брали карандаши, делили мир на квадраты. Вот этот квадрат вам — за все самолеты, пролетающие здесь, отвечает головой. Не дай бог что случится, вы же понимаете. Грузы поставляются в СССР по ленд-лизу, все должно прибыть целым.

Бабушка получила повестку в армию в сорок втором году, а может быть, в сорок первом — точную дату в нашей семье уже никто не знает. Служила радиостройкой на одном из участков «персидского коридора». Хронический недосып, плавающее сознание, одна мечта — закрыть глаза и падать, падать, падать. Бабушка не любила рассказывать об этом времени, но один случай сохранился в семейной памяти. Случай, который никогда со мной не происходил, но стал частью моих воспоминаний. В любой момент я могу увидеть то, почему никогда не была свидетелем.

Война отпускает всего на четыре часа — забыться сном и вернуться. Сигнал тревоги в любой момент — опрокидываешься, голова еще выключена, тело уже работает — надевает форму, застегивает пряжку на ремне. Я вижу, как молодая женщина с черными волосами под сирену встает, делает шаг и падает на кровать, встает, делает шаг и снова падает. Я и есть эта женщина. Я еще сплю, но сон ломается, как лед под сапогом, — что-то не так. Почему я падаю? В районе ключиц у меня разливается холодком волнение, стекает ниже — под ребра. Наконец разлепляю глаза — теперь все понятно. Передо мной стенка. Просто я заснула на другом боку и пытаюсь встать не с той стороны кровати. Я ли? Нет, это молодая женщина с темными волосами. Я смотрю на нее со стороны, откуда-то с потолка.

Интересно, то, что происходило с ее сознанием в Грозном, было похоже на этот полусон, когда пытаешься встать с кровати, но ударяешься о стену и падаешь навзничь?

Я стою на крыше нашего дома. Внизу ходят люди с красными флагами — Первомай. Кто-то жарит шашлыки, над двором белый дымок. Чувствую запах костра. Отрываюсь от крыши, взлетаю над городом, меня начинает трясти. Сильный ветер, голова назад-вперед. Открываю глаза — перевернутое лицо Коли. Неужели я лечу вверх ногами?

— Вставай, говорю. Горим!

— Что?

На стене пляшет пятно света — солнечный зайчик. Он нас всех съест. Пахнет гарью. Чихаю, на бегу надеваю тапочек и падаю. Колено — больно. Поднимаюсь, опираясь на стену.

— Дверь подожгли, видишь? Набирай воду в ведро, неси сюда. В баке вода.

Пламя еще несильное. Повезло, что проснулись.

— Коля, это пожар? Пожар, да?

— Бери ведро, бегом!

Ведро. Ведро. Помню, где-то его видела. Оно было на кухне или в ванной. Под елочными игрушками. Точно! На балконе.

— Я сейчас!

— Скорей!

Ползу на балкон. Цепляюсь за порог и опять чуть не падаю. Начинаю рыться в завалах. Вот оно, ведро, ага. Не поддается, сволочь. Давай.

— Коля, я сейчас!

Ведро уступает, но сверху переворачивается коробка. На пол летят разноцветные шары — разбиваются, как бомбы. Сверху присыпает мишурой. Вижу, у соседей включился свет.

— Мадина! Мадина!

— Что тут у вас происходит? Что случилось?

Я вдруг забыла все слова. Открыла рот, а оттуда тишина.

— Что, что? — нервничает Мадина.

Я показываю пальцем на нашу квартиру и смотрю ей в глаза. Пойми меня, ну пойми же. На балкон выбегает Коля.

— Где ты пропала? Мадина, слава богу. Мы горим. Дверь!

Соседка спохватывается и бежит будить мужа. Я вижу, как она исчезает в квартире.

— Дверь, — повторяю я ей в спину. — Дверь.

Бегу с ведром к баку и снова спотыкаюсь.

— Скорей, — кричит Коля.

Я стараюсь, стараюсь. Нагибаю бак, он тяжелый, еле держу, вода так медленно течет. Он вырывается, забирает ведро и, расплескивая, бежит тушить. С той стороны голос Дауда. Кажется, на этот раз обошлось. Я понимаю, что сижу на полу и обнимаю бак. На разбитом колене выступила кровь.

«Говорит Москва! Говорит Москва! Работают все радиостанции Советского Союза...» Бабушка хватается за сердце и оседает на стуле. Опять война! Нет, выыхай. Это 12 апреля 1961 года. Первый человек в космосе — советский гражданин. Гордись. Бабушка не хочет гордиться, она со злостью вырубает радиоприемник. Надо выпить корвалол. Младшая дочь идет искать капли. Муж так и сидит над борщом с ложкой в руке: ты чего? А она боится. «Нет ничего злее и поднее войны. А у нас дети, Коля. Как же ты не понимаешь?» Она ничего не говорит, только смотрит — читай по глазам. Он доедает борщ и бежит на работу в пожарное депо. Пожар — это страшно. Не дай бог, конечно.

Слишком много для человека — две войны за одну жизнь. Страшно умирать молодым. Страшно умирать старым. Страшно умирать.

Швабра, черенок от лопаты, палка. Висят над головой, утыкаются в дверь и в стену напротив. Коля смастерил сит... систему подпорок. Как на войне. На фронте мы с девочонками так же... Да мы и есть на войне, дура. Мы и есть на войне.

Дверь совсем хилая после пожара. Скрипит — весь подъезд знает, когда нас дома нет. Я теперь не выхожу. Сколько раз нас пытались взломать. Два? Три? Надо у Коли спросить. Коля все знает. Дверь держится едва-едва. Е два. Два или три раза? Дверь. Ее и нет, считай.

Коля сказал «за пенсией». Я с палками один на один. Пойду приготовлю кашу — вернется, а дома едой пахнет. Подпорки эти висят над головой, как зубы, — страшно. Я внутри пасти. Вдруг кто-то дернет дверь и челюсть захлопнется?

Aх, поросенок, — опять хлеб резал, накрошил. Нож нужно втыкать вот так, в мякоть — сколько ни учи, все по-своему. Говорю, чтобы голода не было. Хихикает. Ага, за пенсией собирался — невеселый был. Денег нет, сада тоже. Что жраты будем, Коля? Молчит. И я молчу. Ничего Коля, ничего.

Люба написала — все хорошо у нее. Коля читал вслух вчера, слушала, вспоминала ее девочкой. Волосы, как у меня, а цвета глаз не помню. Забыла! Попыталась перечитать письмо, не смогла. Устала, наверное. Коля посмотрел на меня представительно, нет, при... при... пристально, да, пристально и забрал письмо.

Лида тоже пишет — на несколько листов! Это она в Колю, я не люблю писать, не умею. А Раи совсем не пишет. Два года уже. Опять пропала. Все у нее хорошо, надеюсь. Хоть бы все хорошо. Эх.

Одна в Омске, другая в Казахстане, третья во Владивостоке. Рассыпались, как бусы, не соберешь. Как когда-то за этим столом сидели... Ай!

Палец липкий, весь в красном. Горит от боли. Смешно. Ха-ха-ха. Ой, не могу. Год, два, сто лет на этой проклятой войне, и вот первое ранение. Мои нервы не в лёту, не в счёт. Куда я положила бинт, интересно. А вот. Ножницы.

Мне лет шесть, а может быть, семь, и я пишу письмо в Чечню. Цветным карандашом вывожу слова «бабе и деду» и рисую какую-то ромашку на листочке в крупную клетку.

Я помню, как выглядели конверты, которые мы отправляли, и каков на вкус клей, который нужно облизывать, чтобы запечатать послание.

Я не помню, что приходило в этих конвертах из Грозного, ни одной строчки, ни одного слова. Мама говорит — старики никогда не жаловались. Уверяли, что все у них хорошо, что держатся, что война не такая уж и страшная. В этих письмах не было ни слова о состоянии бабушки. Возможно, в них вообще не было правды. Я бы все равно хотела их прочитать. Но этих писем нет, они потерялись при переездах.

Надо, надо. Коля свое уже написал. Ждет меня. Пошел на кухню, гремит тарелками. Рел-ка-ми. Реками. Я чувствую, как он наверниает... нервни... нервинчает. Он ворчит про «бездобразие» и про «доели травну». Как еще раз? До-ве-ли стра-ну. Это он на меня злится? Не злись, я никого не доводила. Я сейчас все напишу.

Почему так неудобно держать ручку? Не могу сложить пальцы правильно. О чем же писать? Коля, помоги. Нет, не буду отвлекать. Рассердится. Сер-ди-ца. Сердца.

Когда он подходит, я все закончила. Почитай. Молодец я?

«Дорогие дети. Превет. Р вас скучаю и люблю. Пишите о себе. От серца вам желаю благополучия и здоровья. Незабывайте нас. Жду писем фотокарточек, но востей».

Коля смотрит на мое письмо. Хмурится. «Пошли спать», — дает руку. Он пахнет дождевым, дрожь-живым тестом и луком. Надо завтра приготовить пирожки.

— Хочешь пироги?

Говорит, у нас муки нет. Давно. Да? А так хочется. Я лежу, а Коля уходит на кухню. Дверь приоткрыта, полоска света на стене. Мне кажется, она начинает плясать. Я это уже видела раньше. Закрываю глаза. Темно. Я куда-то проваливаюсь и падаю, падаю без конца. Мне восемь лет. Я смотрю на странную женщину. Кто она? У нее темные волосы,

несколько седых прядей и черные-черные глаза. Они засасывают меня. Я растекаюсь по полу, как чернильное пятно.

Утро. Коля понес письмо. Хочу кофе, не знаю, где взять. А если поискать? Одна дверца, другая, шкафчик, ящик, ящер, я щит — везде пусто. В зале тумба под столом. Может? Бумага, конверты, ножницы. Листок, сломанный пополам. Мое письмо. Забыл, наверное, вложиться. Ложь-жисть. Ничего, в следующий раз. Это ничего.

Деньги появлялись редко и не задерживались в руках. У почты, куда с перебоями в несколько месяцев поступала пенсия, иногда стояли мужчины с густыми бородами, с ножами в карманах. Однажды они опрокинули перед дедом улицу, закрыли солнце лбами — отдавай пенсию! Дед открыл рот, воздух прошел с хрипом, воткнулся острым в легкие: я старик, деньги месяцами не вижу. Увлекся, изнутри бьет дрожь, но голос окреп: я забыл, как они выглядят, деньги ваши, нечего у меня брать. «Жизнь только», — рычу вместе с ним. Они висят над нами. Вдруг полоснуло по щеке солнечным лучом — лбы растворились как не бывало. Поверили. Отпустили.

Иногда пенсию приносили чеченки, которые помогали старикам во время войны. Короткие перебежки от подъезда к подъезду — к Никитиной зайти, к Артимяну, к Паршиным. На пыльных дорогах прорисовывается пунктир следов — таким путем на войне приходили деньги.

Эти женщины доставляли гуманитарную помощь пожилым: еду, вещи. Зимой принесли одеяла, чтобы старики не замерзли в неотапливаемом доме. Серые, тонкие, с двумя красными линиями поперек. Одно из них до сих пор хранится у меня. Только сегодня я узнала, что это гуманитарная помощь для Чечни. Я достала одеяло из шкафа и стала его рассматривать. Не знаю, что хочу увидеть.

Нос мерзнет. Хватаюсь за него рукой. Мм, не могу дышать. Дыхание теплое. Пальцы согрева-грифа. Грифа. Конь. Коля. Коля говорит, скоро новый год. Новый год — это мандаринки. Он говорит, что все шары на елку разбились. Почему? Я этого не помню. Коля никогда не врет.

Коля принес одеяло. Сказал, у нас будет голая картошка. Смешно. Говорит, даже масла нет. А что такое масло? Говорит, можно отменить сейчас. Что отменить, я не поняла? Говорит, соскучился по бою курantов. Бой. Нет, нет, нет, не надо боя. Только не бой. Коля согласился, что без боя лучше.

Пошел на кухню, я помогаю. Он говорит, что квартира над нами пустует. Это значит, что там никто не живет. Он говорит, что теперь ее заняли люди с оружием. У них там точка. Я говорю, запятая. Он говорит, надо быть осторожней. Непонятно за-ко-го-ооооооо. Ко-го-ни. Кони.

Вэжжжжжжжжжзззззззз

Коля бежит в коридор. Тяжелые голоса, колющие — кадык и щетина. Наконец-то Коля вернулся, в руках — кулек. Показывает пальцем в потолок. Говорит, оттуда. Я задираю голову наверх, никого там не вижу.

Из кулька капает на стол красное. Коля рвет руками бумагу, достает — мясо. Его лицо что-то выражает. Какую-то эмоцию. Я не могу разобрать.

— Сварить или зажарить?

Я киваю.

Мы так наелись. Коля ушел за абаломом, ломом. Тащит. Я листаю журнал. В нем написано: «Мой отец Седов». Коля, Коля! Тут сказано, мой отец — Седов. Он забирает

журнал. Дает картинки. Говорит, это наша семья. Очень много лиц, я где-то видела этих женщин. Коля говорит, мы знакомы. Они красивые. Улыбаются. Я думаю, они хорошие люди. Коля говорит, это наши дети.

Я смотрю на фотографию бабушки из семейного альбома, который чудом пережил войну в Грозном и доехал до меня. Десятки рассыпающихся в руках листов, на одном из них — портрет. Бабушка совсем молодая — ей, может, двадцать пять. Она смотрит не в объектив, а чуть в сторону. На этом снимке она похожа на актрису Кейт Уинслет из фильма «Титаник».

Мама говорит, что иногда я напоминаю ей бабушку. Я не согласна, не вижу сходства. Она поясняет — это не форма скул и не разрез глаз. Это выражение на лице, которое появляется всего на секунду, наклон головы во время разговора. Разве можно унаследовать такие вещи? От человека, которого не знаешь.

Почему она так на меня смотрит? Какая странная. Она не очень-то мне нравится. Она старая. И больная. Я вижу это по ее глазам.

Она открывает рот, и там нет зубов. Кладет ладонь на лоб, проводит к подбородку, лицо смазывается вниз, как подтаявшее мороженое. Грустное лицо. Она зевает, и я вместе с ней.

На ней ночнушка с пятном на груди. Поднимаю глаза — таращится. Смотрю на нее в упор, а она на меня. Игра в гляделки.

Голос Коли над ухом заставляет моргнуть.

— Пойдем есть. Отойди от зеркала. Пойдем.

Зеркало? Что такое зеркало? Коля, я забыла.

Он ведет меня под руку и говорит: «Это ничего. Это ничего».

В дверях кто-то сжимает мне локоть. Поворачиваюсь и вижу маму. Ее рот шевелится, но голоса не слышно, и я начинаю реветь. Она нагибается ближе, гладит по голове — ладонь тяжелая, как у приходского священника, когда он отпускает тебе грехи. Утыкаюсь лицом в ее юбки — они пахнут травой и молоком. Зажмуриваюсь. И наконец-то слышу! Она поет: «Зыбыбаю-позыбыбаюю. Отец ушел за рыбами». Слышу, как орут в саду сороки, как скрипит половица под ногой, как на маминой шее позывкает монисто. Протягиavo руку — оно холодное. На столе горит свеча. Мамина тень на всю стену, такая большая, что страшно. Кажется, сначала она поднимает руку, и только потом моя мама. Я поворачиваюсь к своей тени, она делает движение ко мне — я пугаюсь и опять начинаю реветь. Тень тоже плачет, беззвучно дергая плечами. Мама берет меня под ребра, сажает себе на колени и поет: «Аа-аа-ааа». Я закрываю глаза и цепляюсь руками за ее косы. Слезы еще катятся по щекам, губы мокрые и соленые. Я прижимаюсь к маме, от нее пахнет травой и молоком.

Я запуталась в отражениях. Их теперь слишком много. Вижу себя в восемь лет, смотрящей на женщину с черными-черными глазами и тонущей в них, как в мазуте. Кто-то, кто называется «я», совершает путешествие в воображаемое прошлое и строит из обрывков рассказов деда и матери целый мир. Представляет трехкомнатную квартиру в хрущевке на Старопромысловском шоссе. Ходит по ней, хотя никогда не видел ее в жизни. Слышит, как скрипят половицы, трогает неровную, подгоревшую дверь. На пальцах остается копоть — пахнет костром. В квартире полумрак, прикрыты

шторы. Где-то тут моя бабушка — точнее, мои бабушки — такие же отражения, как и «я» сама. Проекции человека, которого я совсем не знала, но захотела воскресить и поселить здесь. Живи. Расскажи мне, как все было. Поговори со мной. Она может сообщить мне только то, что «я» сама вложу в ее голову. «Я» знаю это и больше не задаю вопросов.

Перед моими (чьими именно?) глазами возникает последняя сцена. Я представляю ее особенно часто. Бабушка сидит за столом на кухне и смотрит в окно. О стекло бьется мотылек. Она показывает пальцем и говорит:

— Коля, смотри.

Он не поворачивается. У него на плите убегает молоко, и он злится.

— Оди го йу.

— Что?

— Подожди, говорю.

Бабушка засыпает, прислонившись лбом к окну. Дед трясет ее за плечо.

— Проснись. Обед готов.

Она слышит сквозь сон:

— Рос ис бе тов.

Хлопает глазами. Дед наклоняется к ней и говорит.

— Скажи: Аня.

Она ворочает языком, нашупывает звуки, пробует их на вкус:

— А-нь-яя. Аня.

Дед смотрит на нее и говорит:

— Ты помнишь, что это значит?

Она заглядывает в глаза. Пауза затягивается.

— Так тебя зовут.

Лицо бабушки в этот момент что-то выражает, но я не могу разглядеть деталей, потому что плечо деда закрывает обзор. Она говорит: «А. НЬ. ИА», — и тут же забывает.

Дом начинает скрипеть. Окно, у которого сидит бабушка, вываливается из стены и летит в пустоту. Оно никогда не упадет, потому что с той стороны нет ни улицы, ни города, ни страны. Исчезает плита, стол, дверной проем, стены, пол. Силуэт деда бледнеет и превращается в белый пар над кастрюлей с молоком. Следом растворяется бабушка. Квартира и все, что в ней, рассыпается на тысячи точек, никак не собрать. Их подхватывает и уносит ветер. Остается лишь пустота. А потом и она исчезает.